

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

ДЕТСТВО.

ОТРОЧЕСТВО. ПОСЛЕ

БАЛА. КАВКАЗСКИЙ

ПЛЕННИК

Школьное чтение (АСТ)

Лев Толстой

**Детство. Отрочество. После
бала. Кавказский пленник**

«Public Domain»

1852, 1854, 1886, 1872

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

Толстой Л. Н.

Детство. Отрочество. После бала. Кавказский пленник /
Л. Н. Толстой — «Public Domain», 1852, 1854, 1886,
1872 — (Школьное чтение (АСТ))

ISBN 978-5-17-983204-1

В книгу вошли повести «Детство» (1852) и «Отрочество» (1854), рассказы «Кавказский пленник» (1872) и «После бала» (1886). Читатель знакомится с Николенькой Иртеньевым, добрым, ласковым мальчиком, любящим своих родителей и всех на свете и интересующимся абсолютно всем, что его окружает. Писатель исследует поведение, мысли и чувства ребёнка в различные моменты его жизни, показывает этапы его взросления и становления личности. Рассказ «Кавказский пленник» о русских офицерах Жилине и Костылине в плену у горцев отчасти основан на реальных событиях, произошедших с Л. Н. Толстым во время его службы на Кавказе. В основе рассказа «После бала» лежат события, произошедшие со старшим братом Л. Толстого Сергеем. Сергей Николаевич был влюблён в дочь военного начальника и бывал у них в доме. Но после увиденного им избияния беглого солдата под руководством отца девушки, чувства влюблённого быстро охладели, и он отказался от намерения жениться на ней.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-17-983204-1

© Толстой Л. Н., 1852, 1854, 1886,
1872

© Public Domain, 1852, 1854, 1886,
1872

Содержание

Детство	7
Глава I	7
Глава II	10
Глава III	12
Глава IV	15
Глава V	17
Глава VI	20
Глава VII	22
Глава VIII	25
Глава IX	26
Глава X	27
Глава XI ЗАНЯТИЯ В КАБИНЕТЕ И ГОСТИНОЙ	29
Глава XII	31
Глава XIII	33
Глава XIV	35
Глава XV	38
Глава XVI	40
Глава XVII	44
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Лев Николаевич Толстой
Детство. Отрочество. После
бала. Кавказский пленник

© ООО «Издательство АСТ»

Детство

Глава I Учитель Карл Иванович

12-го августа 18... , ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра Карл Иванович разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопнушкой – из сахарной бумаги на палке – по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карла Ивановича. Он же, в пестром ваточном халате, подпоясанном поясом из той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах, продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать.

«Положим, – думал я, – я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около Володиной постели? вон их сколько! Нет, Володя старше меня; а я меньше всех: оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь, – прошептал я, – как бы мне делать неприятности. Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает... противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка – какие противные!»

В то время как я таким образом мысленно выражал свою досаду на Карла Ивановича, он подошел к своей кровати, взглянул на часы, которые висели над нею в шитом бисерном башмачке, повесил хлопнушку на гвоздик и, как заметно было, в самом приятном расположении духа повернулся к нам.

– Auf, Kinder, auf!.. s'ist Zeit. Die Mutter ist schon im Saal!¹ – крикнул он добрым немецким голосом, потом подошел ко мне, сел у ног и достал из кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карл Иванович сначала понюхал, утер нос, щелкнул пальцами и тогда только принялся за меня. Он, посмеиваясь, начал щекотать мои пятки. – Nu, nun, Faulenzer!² – говорил он.

Как я ни боялся щекотки, я не вскочил с постели и не отвечал ему, а только глубже запрятал голову под подушки, изо всех сил брыкал ногами и употреблял все старания удержаться от смеха.

«Какой он добрый и как нас любит, а я мог так дурно о нем думать!»

Мне было досадно и на самого себя, и на Карла Ивановича, хотелось смеяться и хотелось плакать: нервы были расстроены.

– Ach, lassen Sie³, Карл Иванович! – закричал я со слезами на глазах, высовывая голову из-под подушек.

Карл Иванович удивился, оставил в покое мои подошвы и с беспокойством стал спрашивать меня: о чем я? не видел ли я чего дурного во сне?.. Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слез, заставляли их течь еще обильнее: мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Ивановича и находить противными его халат, шапочку и кисточку; теперь, напротив, все это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты. Я сказал ему, что плачу оттого, что видел дурной сон – будто мама умерла и ее несут хоронить. Все это я

¹ Вставать, дети, вставать!.. пора. Мать уже в зале (нем.).

² Ну, ну, лентяй! (нем.)

³ Ах, оставьте (нем.).

выдумал, потому что решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь; но когда Карл Иванович, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слезы полились уже от другой причины.

Когда Карл Иванович оставил меня и я, приподнявшись на постели, стал натягивать чулки на свои маленькие ноги, слезы немного унялись, но мрачные мысли о выдуманном сне не оставляли меня. Вошел дядька Николай – маленький, чистенький человечек, всегда серьезный, аккуратный, почтительный и большой приятель Карла Ивановича. Он нес наши платья и обувь: Володе сапоги, а мне покуда еще несносные башмаки с бантиками. При нем мне было бы совестно плакать; притом утреннее солнышко весело светило в окна, а Володя, передразнивая Марию Ивановну (гувернантку сестры), так весело и звучно смеялся, стоя над умывальником, что даже серьезный Николай, с полотенцем на плече, с мылом в одной руке и с рукомыльником в другой, улыбаясь, говорил:

– Будет вам, Владимир Петрович, извольте умываться.

Я совсем развеселился.

– Sind Sie bald fertig?⁴ – послышался из классной голос Карла Ивановича.

Голос его был строг и не имел уже того выражения доброты, которое тронуло меня до слез. В классной Карл Иванович был совсем другой человек: он был наставник. Я живо оделся, умылся и, еще с щеткой в руке, приглаживая мокрые волосы, явился на его зов.

Карл Иванович, с очками на носу и книгой в руке, сидел на своем обычном месте, между дверью и окошком. Налево от двери были две полочки: одна – наша, детская, другая – Карла Ивановича, *собственная*. На нашей были всех сортов книги – учебные и неучебные: одни стояли, другие лежали. Только два больших тома «Histoire des voyages»⁵, в красных переплетах, чинно упирались в стену; а потом и пошли, длинные, толстые, большие и маленькие книги, – корочки без книг и книги без корочек; все туда же, бывало, нажмешь и всунешь, когда прикажут перед рекреацией привести в порядок библиотеку, как громко называл Карл Иванович эту полочку. Коллекция книг на *собственной* если не была так велика, как на нашей, то была еще разнообразнее. Я помню из них три: немецкую брошюру об унавоживании огородов под капусту – без переплета, один том истории Семилетней войны – в пергаменте, прожженном с одного угла, и полный курс гидростатики. Карл Иванович большую часть своего времени проводил за чтением, даже испортил им свое зрение; но, кроме этих книг и «Северной пчелы», он ничего не читал.

В числе предметов, лежавших на полочке Карла Ивановича, был один, который больше всего мне его напоминает. Это – кружок из кардона, вставленный в деревянную ножку, в которой кружок этот подвигался посредством шпенок. На кружке была наклеена картинка, представляющая карикатуры какой-то барыни и парикмахера. Карл Иванович очень хорошо клеил и кружок этот сам изобрел и сделал для того, чтобы защищать свои слабые глаза от яркого света.

Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из-под которой виднеются редкие седые волосы. Он сидит подле столика, на котором стоит кружок с парикмахером, бросавшим тень на его лицо; в одной руке он держит книгу, другая покоится на ручке кресел; подле него лежат часы с нарисованным егерем на циферблате, клетчатый платок, черная круглая табакерка, зеленый футляр для очков, щипцы на лоточке. Все это так чинно, аккуратно лежит на своем месте, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Ивановича совесть чиста и душа покойна.

Бывало, как досыта набегаясь внизу по зале, на цыпочках прокрадешься наверх, в классную, смотришь – Карл Иванович сидит себе один на своем кресле и с спокойно-величавым выражением читает какую-нибудь из своих любимых книг. Иногда я заставал его и в такие минуты, когда он не читал: очки спускались ниже на большом орлином носу, голубые полуза-

⁴ Скоро ли вы будете готовы? (нем.)

⁵ «История путешествий» (фр.).

крытые глаза смотрели с каким-то особенным выражением, а губы грустно улыбались. В комнате тихо; только слышно его равномерное дыхание и бой часов с егерем.

Бывало, он меня не замечает, а я стою у двери и думаю: «Бедный, бедный старик! Нас много, мы играем, нам весело, а он – один-одинешенек, и никто-то его не приласкает. Правду он говорит, что он сирота. И история его жизни какая ужасная! Я помню, как он рассказывал ее Николаю – ужасно быть в его положении!» И так жалко станет, что, бывало, подойдешь к нему, возьмешь за руку и скажешь: «Lieber⁶ Карл Иваныч!» Он любил, когда я ему говорил так; всегда приласкает, и видно, что растроган.

На другой стене висели ландкарты, все почти изорванные, но искусно подклеенные рукою Карла Иваныча. На третьей стене, в середине которой была дверь вниз, с одной стороны висели две линейки: одна – изрезанная, наша, другая – новенькая, *собственная*, употребляемая им более для поощрения, чем для линейвания; с другой – черная доска, на которой кружками отмечались наши большие проступки и крестиками – маленькие. Налево от доски был угол, в который нас ставили на колени.

Как мне памятен этот угол! Помню заслонку в печи, отдушник в этой заслонке и шум, который он производил, когда его поворачивали. Бывало, стоишь, стоишь в углу, так что колени и спина заболят, и думаешь: «Забыл про меня Карл Иваныч: ему, должно быть, покойно сидеть на мягком кресле и читать свою гидростатику, – а каково мне?» – и начнешь, чтобы напомнить о себе, потихоньку отворять и затворять заслонку или ковырять штукатурку со стены; но если вдруг упадет с шумом слишком большой кусок на землю – право, один страх хуже всякого наказания. Оглянешься на Карла Иваныча, – а он сидит себе с книгой в руке и как будто ничего не замечает.

В середине комнаты стоял стол, покрытый оборванной черной клеенкой, из-под которой во многих местах виднелись края, изрезанные перочинными ножами. Кругом стола было несколько некрашенных, но от долгого употребления залакированных табуретов. Последняя стена была занята тремя окошками. Вот какой был вид из них: прямо под окнами дорога, на которой каждая выбоина, каждый камешек, каждая колея давно знакомы и милы мне; за дорогой – стриженная липовая аллея, из-за которой кое-где виднеется плетеный частокол; через аллею виден луг, с одной стороны которого гумно, а напротив лес; далеко в лесу видна избушка сторожа. Из окна направо видна часть террасы, на которой сиживали обыкновенно большие до обеда. Бывало, покуда поправляет Карл Иваныч лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину и смутно слышишь оттуда говор и смех; так делается досадно, что нельзя там быть, и думаешь: «Когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю?» Досада перейдет в грусть, и, бог знает отчего и о чем, так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иваныч сердится за ошибки.

Карл Иваныч снял халат, надел синий фрак с возвышениями и сборками на плечах, оправил перед зеркалом свой галстук и повел нас вниз – здороваться с матушкой.

⁶ Милый (нем.).

Глава II

Маман

Матушка сидела в гостиной и разливала чай; одной рукой она придерживала чайник, другою – кран самовара, из которого вода текла через верх чайника на поднос. Но хотя она смотрела пристально, она не замечала этого, не замечала и того, что мы вошли.

Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно видишь их. Это слезы воображения. Когда я стараюсь вспомнить матушку такую, какою она была в это время, мне представляются только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь, родинка на шее, немного ниже того места, где вьются маленькие волосики,шитый белый воротничок, нежная сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал; но общее выражение ускользает от меня.

Налево от дивана стоял старый английский рояль; перед роялем сидела черномазенькая моя сестрица Любочка и розовенькими, только что вымытыми холодной водой пальчиками с заметным напряжением разыгрывала этюды Clementi. Ей было одиннадцать лет; она ходила в коротеньком холстинковом платьице, в беленьких, обшитых кружевом панталончиках и октавы могла брать только *agreggio*⁷. Подле нее вполуборот сидела Марья Ивановна в чепце с розовыми лентами, в голубой кацавейке и с красным сердитым лицом, которое приняло еще более строгое выражение, как только вошел Карл Иваныч. Она грозно посмотрела на него и, не отвечая на его поклон, продолжала, топая ногой, считать: «Un, deux, trois, un, deux, trois»⁸, – еще громче и повелительнее, чем прежде.

Карл Иваныч, не обращая на это ровно никакого внимания, по своему обыкновению, с немецким приветствием, подошел прямо к ручке матушки. Она опомнилась, тряхнула головой, как будто желая этим движением отогнать грустные мысли, подала руку Карлу Иванычу и поцеловала его в морщинистый висок, в то время как он целовал ее руку.

– Ich danke, lieber⁹ Карл Иваныч, – и, продолжая говорить по-немецки, она спросила: – Хорошо ли спали дети?

Карл Иваныч был глух на одно ухо, а теперь от шума за роялем вовсе ничего не слышал. Он нагнулся ближе к дивану, оперся одной рукой о стол, стоя на одной ноге, и с улыбкой, которая тогда мне казалась верхом утонченности, приподнял шапочку над головой и сказал:

– Вы меня извините, Наталья Николаевна?

Карл Иваныч, чтобы не простудить своей голой головы, никогда не снимал красной шапочки, но всякий раз входя в гостиную, спрашивал на это позволения.

– Наденьте, Карл Иваныч... Я вас спрашиваю, хорошо ли спали дети? – сказала маман, подвинувшись к нему и довольно громко.

Но он опять ничего не слышал, прикрыл лысину красной шапочкой и еще милее улыбался.

– Пойдите на минутку, Мими, – сказала маман Марье Ивановне с улыбкой, – ничего не слышно.

Когда матушка улыбалась, как ни хорошо было ее лицо, оно делалось несравненно лучше, и кругом все как будто веселело. Если бы в тяжелые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе. Мне кажется, что в одной улыбке состоит то, что называют красотой лица: если улыбка прибавляет прелести лицу, то лицо прекрасно; если она не изменяет его, то оно обыкновенно; если она портит его, то оно дурно.

⁷ *Агреджио* – звуки аккорда, следующие один за другим.

⁸ Раз, два, три, раз, два, три (*фр.*).

⁹ Благодарю, милый (*нем.*).

Поздоровавшись со мною, татап взяла обеими руками мою голову и откинула ее назад, потом посмотрела пристально на меня и сказала:

– Ты плакал сегодня?

Я не отвечал. Она поцеловала меня в глаза и по-немецки спросила:

– О чем ты плакал?

Когда она разговаривала с нами дружески, она всегда говорила на этом языке, который знала в совершенстве.

– Это я во сне плакал, татап, – сказал я, припоминая со всеми подробностями выдуманный сон и невольно содрогаясь при этой мысли.

Карл Иваныч подтвердил мои слова, но умолчал о сне. Поговорив еще о погоде, – разговор, в котором приняла участие и Мими, – татап положила на поднос шесть кусочков сахара для некоторых почетных слуг, встала и подошла к пальцам, которые стояли у окна.

– Ну, ступайте теперь к папá, дети, да скажите ему, чтобы он непременно ко мне зашел, прежде чем пойдет на гумно.

Музыка, считанье и грозные взгляды опять начались, а мы пошли к папа. Пройдя комнату, удержавшую еще от времен дедушки название *официантской*, мы вошли в кабинет.

Глава III

Папа

Он стоял подле письменного стола и, указывая на какие-то конверты, бумаги и кучки денег, горячился и с жаром толковал что-то приказчику Якову Михайлову, который, стоя на своем обычном месте, между дверью и барометром, заложив руки за спину, очень быстро и в разных направлениях шевелил пальцами.

Чем больше горячился папа, тем быстрее двигались пальцы, и наоборот, когда папа замолкал, и пальцы останавливались; но когда Яков сам начинал говорить, пальцы приходили в сильнейшее беспокойство и отчаянно прыгали в разные стороны. По их движениям, мне кажется, можно бы было угадывать тайные мысли Якова; лицо же его всегда было спокойно – выражало сознание своего достоинства и вместе с тем подвластности, то есть: я прав, а впрочем, воля ваша!

Увидев нас, папа только сказал:

– Погодите, сейчас.

И показал движением головы дверь, чтобы кто-нибудь из нас затворил ее.

– Ах, боже мой милостивый! что с тобой нынче, Яков? – продолжал он к приказчику, подергивая плечом (у него была эта привычка). – Этот конверт со вложением восьмисот рублей...

Яков подвинул счета, кинул восемьсот и устремил взоры на неопределенную точку, ожидая, что будет дальше.

– ...для расходов по экономии в моем отсутствии. Понимаешь? За мельницу ты должен получить тысячу рублей... так или нет? Залогов из казны ты должен получить обратно восемь тысяч; за сено, которого, по твоему же расчету, можно продать семь тысяч пудов, – кладу по сорок пять копеек, – ты получишь три тысячи: следовательно, всех денег у тебя будет сколько? Двенадцать тысяч... так или нет?

– Так точно-с, – сказал Яков.

Но по быстроте движений пальцами я заметил, что он хотел возразить; папа перебил его:

– Ну, из этих-то денег ты и пошлешь десять тысяч в Совет за Петровское. Теперь деньги, которые находятся в конторе, – продолжал папа (Яков смешал прежние двенадцать тысяч и кинул двадцать одну тысячу), – ты принесешь мне и нынешним же числом покажешь в расходе. (Яков смешал счета и перевернул их, показывая, должно быть, этим, что и деньги двадцать одна тысяча пропадут так же.) Этот же конверт с деньгами ты передашь от меня по адресу.

Я близко стоял от стола и взглянул на надпись. Было написано: «Карлу Ивановичу Мауеру».

Должно быть, заметив, что я прочел то, чего мне знать не нужно, папа положил мне руку на плечо и легким движением показал направление прочь от стола. Я не понял, ласка ли это или замечание, на всякий же случай поцеловал большую жилистую руку, которая лежала на моем плече.

– Слушаю-с, – сказал Яков. – А какое приказание будет насчет хабаровских денег?

Хабаровка была деревня тамап.

– Оставить в конторе и отнюдь никуда не употреблять без моего приказания.

Яков помолчал несколько секунд; потом вдруг пальцы его завертелись с усиленной быстротой, и он, переменив выражение послушного тупоумия, с которым слушал господские приказания, на свойственное ему выражение плутоватой сметливости, подвинул к себе счета и начал говорить:

– Позвольте вам доложить, Петр Александрыч, что как вам будет угодно, а в Совет к сроку заплатить нельзя. Вы изволите говорить, – продолжал он с расстановкой, – что должны

получиться деньги с залогов, с мельницы и с сена... (Высчитывая эти статьи, он кинул их на кости.) Так я боюсь, как бы нам не ошибиться в расчетах, – прибавил он, помолчав немного и глубокомысленно взглянув на папа.

– Отчего?

– А вот извольте видеть: насчет мельницы, так мельник уже два раза приходил ко мне отсрочки просить и Христом Богом божился, что денег у него нет... да он и теперь здесь: так не угодно ли вам будет самим с ним поговорить?

– Что же он говорит? – спросил папа, делая головою знак, что не хочет говорить с мельником.

– Да известно что, говорит, что помолу совсем не было, что какие деньжонки были, так все в плотину посадил. Что ж, коли нам его снять, *судырь*, так опять-таки найдем ли тут расчет? Насчет залогов изволили говорить, так я уже, кажется, вам докладывал, что наши денежки там сели и скоро их получить не придется. Я наемни посылал в город к Ивану Афанасьичу воз муки и записку об этом деле: так они опять-таки отвечают, что и рад бы стараться для Петра Александрыча, но дело не в моих руках, а что, как по всему видно, так вряд ли и через два месяца получится ваша квитанция. Насчет сена изволили говорить, положим, что и продается на три тысячи...

Он кинул на счета три тысячи и с минуту молчал, посматривая то на счета, то в глаза папа, с таким выражением: «Вы сами видите, как это мало! Да и на сене опять-таки проторгуем, коли его теперь продавать, вы сами извольте знать...»

Видно было, что у него еще большой запас доводов; должно быть, поэтому папа перебил его.

– Я распоряжений своих не переменяю, – сказал он, – но если в получении этих денег действительно будет задержка, то, нечего делать, возьмешь из хабаровских, сколько нужно будет.

– Слушаю-с.

По выражению лица и пальцев Якова заметно было, что последнее приказание доставило ему большое удовольствие.

Яков был крепостной, весьма усердный и преданный человек; он, как и все хорошие приказчики, был до крайности скуп за своего господина и имел о выгодах господских самые странные понятия. Он вечно заботился о приращении собственности своего господина на счет собственности госпожи, стараясь доказывать, что необходимо употреблять все доходы с ее имений на Петровское (село, в котором мы жили). В настоящую минуту он торжествовал, потому что совершенно успел в этом.

Поздоровавшись, папа сказал, что будет нам в деревне баклуши бить, что мы перестали быть маленькими и что пора нам серьезно учиться.

– Вы уже знаете, я думаю, что я нынче в ночь еду в Москву и беру вас с собою, – сказал он. – Вы будете жить у бабушки, а татан с девочками остается здесь. И вы это знайте, что одно для нее будет утешение – слышать, что вы учитесь хорошо и что вами довольны.

Хотя по приготовлениям, которые за несколько дней заметны были, мы уже ожидали чего-то необыкновенного, однако новость эта поразила нас ужасно. Володя покраснел и дрожащим голосом передал поручение матушки.

«Так вот что предвещал мне мой сон! – подумал я, – дай бог только, чтобы не было чего-нибудь еще хуже».

Мне очень, очень жалко стало матушку, и вместе с тем мысль, что мы точно стали большие, радовала меня.

«Ежели мы нынче едем, то, верно, классов не будет; это славно! – думал я. – Однако жалко Карла Иваныча. Его, верно, отпустят, потому что иначе не приготовили бы для него конверта... Уж лучше бы век учиться да не уезжать, не расставаться с матушкой и не обижать бедного Карла Иваныча. Он и так очень несчастлив!»

Мысли эти мелькали в моей голове; я не трогался с места и пристально смотрел на черные бантики своих башмаков.

Сказав с Карлом Ивановичем еще несколько слов о понижении барометра и приказав Якову не кормить собак, с тем чтобы на прощанье выехать после обеда послушать молодых гончих, папа, против моего ожидания, послал нас учиться, утешив, однако, обещанием взять на охоту.

По дороге на верх я забежал на террасу. У дверей на солнышке, зажмурившись, лежала любимая борзая собака отца – Милка.

– Милочка, – говорил я, лаская ее и целуя в морду, – мы нынче едем; прощай! никогда больше не увидимся.

Я расчувствовался и заплакал.

Глава IV

Классы

Карл Иваныч был очень не в духе. Это было заметно по его сдвинутым бровям и по тому, как он швырнул свой сюртук в комод, и как сердито подпоясался, и как сильно черкнул ногтем по книге диалогов, чтобы означить то место, до которого мы должны были вытвердить. Володя учился порядочно; я же так был расстроен, что решительно ничего не мог делать. Долго бессмысленно смотрел я в книгу диалогов, но от слез, набравшихся мне в глаза при мысли о предстоящей разлуке, не мог читать; когда же пришло время говорить их Карлу Иванычу, который, зажмурившись, слушал меня (это был дурной признак), именно на том месте, где один говорит: «Wo kommen Sie her?»¹⁰, а другой отвечает: «Ich komme vom Kaffe-Hause»¹¹, – я не мог более удерживать слез и от рыданий не мог произнести: «Haben Sie die Zeitung nicht gelesen?»¹² Когда дошло дело до чистописания, я от слез, падавших на бумагу, наделал таких клякс, как будто писал водой на оберточной бумаге.

Карл Иваныч рассердился, поставил меня на колени, твердил, что это упрямство, кукольная комедия (это было любимое его слово), угрожал линейкой и требовал, чтобы я просил прощения, тогда как я от слез не мог слова вымолвить; наконец, должно быть, чувствуя свою несправедливость, он ушел в комнату Николая и хлопнул дверью.

Из классной слышен был разговор в комнате дядьки.

– Ты слышал, Николай, что дети едут в Москву? – сказал Карл Иваныч, входя в комнату.

– Как же-с, слышал.

Должно быть, Николай хотел встать, потому что Карл Иваныч сказал: «Сиди, Николай!» – и вслед за этим затворил дверь. Я вышел из угла и подошел к двери подслушивать.

– Сколько ни делай добра людям, как ни будь привязан, видно, благодарности нельзя ожидать, Николай? – говорил Карл Иваныч с чувством.

Николай, сидя у окна за сапожной работой, утвердительно кивнул головой.

– Я двенадцать лет живу в этом доме и могу сказать перед богом, Николай, – продолжал Карл Иваныч, поднимая глаза и табакерку к потолку, – что я их любил и занимался ими больше, чем ежели бы это были мои собственные дети. Ты помнишь, Николай, когда у Володеньки была горячка, помнишь, как я девять дней, не смыкая глаз, сидел у его постели. Да! тогда я был добрый, милый Карл Иваныч, тогда я был нужен; а теперь, – прибавил он, иронически улыбаясь, – теперь *дети большие стали: им надо серьезно учиться*. Точно они здесь не учатся, Николай?

– Как же еще учиться, кажется, – сказал Николай, положив шило и протягивая обеими руками дратвы.

– Да, теперь я не нужен стал, меня и надо прогнать; а где обещания? где благодарность? Наталью Николаевну я уважаю и люблю, Николай, – сказал он, прикладывая руку к груди, – да что она?.. ее воля в этом доме все равно, что вот это, – при этом он с выразительным жестом кинул на пол обрезок кожи. – Я знаю, чьи это штуки и отчего я стал не нужен: оттого, что я не лъщу и не потакаю во всем, как *иные люди*. Я привык всегда и перед всеми говорить правду, – сказал он гордо. – Бог с ними! Оттого, что меня не будет, они не разбогатеют, а я, Бог милостив, найду себе кусок хлеба... не так ли, Николай?

Николай поднял голову и посмотрел на Карла Иваныча так, как будто желая удостовериться, действительно ли может он найти кусок хлеба, – но ничего не сказал.

¹⁰ Откуда вы идете? (нем.)

¹¹ Я иду из кофейни (нем.).

¹² Вы не читали газеты? (нем.)

Много и долго говорил в этом духе Карл Иванович: говорил о том, как лучше умели ценить его заслуги у какого-то генерала, где он прежде жил (мне очень больно было это слышать), говорил о Саксонии, о своих родителях, о друге своем портном Schönheit и т. д., и т. д.

Я сочувствовал его горю, и мне больно было, что отец и Карл Иванович, которых я почти одинаково любил, не поняли друг друга; я опять отправился в угол, сел на пятки и рассуждал о том, как бы восстановить между ними согласие.

Вернувшись в классную, Карл Иванович велел мне встать и приготовить тетрадь для писания под диктовку. Когда все было готово, он величественно опустился в свое кресло и голосом, который, казалось, выходил из какой-то глубины, начал диктовать следующее: «Von allen Lei-den-schaf-ten die grau-samste ist... haben Sie geschrieben?»¹³ Здесь он остановился, медленно понюхал табаку и продолжал с новой силой: «Die grausamste ist die Un-dank-bar-keit... Ein groess U»¹⁴. В ожидании продолжения, написав последнее слово, я посмотрел на него.

– Punctum¹⁵, – сказал он с едва заметной улыбкой и сделал знак, чтобы мы подали ему тетради.

Несколько раз, с различными интонациями и с выражением величайшего удовольствия, прочел он это изречение, выражавшее его задушевную мысль; потом задал нам урок из истории и сел у окна. Лицо его не было угрюмо, как прежде; оно выражало довольство человека, достойно отмстившего за нанесенную ему обиду.

Было без четверти час, но Карл Иванович, казалось, и не думал о том, чтобы отпустить нас, он то и дело задавал новые уроки. Скука и аппетит увеличивались в одинаковой мере. Я с сильным нетерпением следил за всеми признаками, доказывавшими близость обеда. Вот дворовая женщина с мочалкой идет мыть тарелки, вот слышно, как шумят посудой в буфете, раздвигают стол и ставят стулья, вот и Мими с Любочкой и Катенькой (Катенька – двенадцатилетняя дочь Мими) идут из сада; но не видать Фоки – дворецкого Фоки, который всегда приходит и объявляет, что кушать готово. Тогда только можно будет бросить книги и, не обращая внимания на Карла Ивановича, бежать вниз.

Вот слышны шаги по лестнице; но это не Фока! Я изучил его походку и всегда узнаю скрип его сапогов. Дверь отворилась, и в ней показалась фигура, мне совершенно незнакомая.

¹³ Из всех пороков самый ужасный... написали? (нем.)

¹⁴ Самый ужасный – это неблагодарность... с прописной буквы (нем.).

¹⁵ Точка (лат.).

Глава V Юродивый

В комнату вошел человек лет пятидесяти, с бледным, изрытым оспою продолговатым лицом, длинными седыми волосами и редкой рыжеватой бородкой. Он был такого большого роста, что для того, чтобы пройти в дверь, ему не только нужно было нагнуть голову, но и согнуться всем телом. На нем было надето что-то изорванное, похожее на кафтан и на подрясник; в руке он держал огромный посох. Войдя в комнату, он из всех сил стукнул им по полу и, скривив брови и чрезмерно раскрыв рот, захохотал самым страшным и неестественным образом. Он был крив на один глаз, и белый зрачок этого глаза прыгал беспрестанно и придавал его и без того некрасивому лицу еще более отвратительное выражение.

– Ага! попались! – закричал он, маленькими шажками подбегая к Володе, схватил его за голову и начал тщательно рассматривать его макушку, – потом с совершенно серьезным выражением отошел от него, подошел к столу и начал дуть под клеенку и крестить ее. – О-ох жалко! О-ох больно!.. сердечные... улетят, – заговорил он потом дрожащим от слез голосом, с чувством всматриваясь в Володю, и стал утирать рукавом действительно падавшие слезы.

Голос его был груб и хрипл, движения торопливы и неровны, речь бессмысленна и несвязна (он никогда не употреблял местоимений), но ударения так трогательны и желтое уродливое лицо его принимало иногда такое откровенно печальное выражение, что, слушая его, нельзя было удержаться от какого-то смешанного чувства сожаления, страха и грусти.

Это был юродивый и странник Гриша.

Откуда был он? кто были его родители? что побудило его избрать странническую жизнь, какую он вел? Никто не знал этого. Знаю только то, что он с пятнадцатого года стал известен как юродивый, который зиму и лето ходит босиком, посещает монастыри, дарит образочки тем, кого полюбит, и говорит загадочные слова, которые некоторыми принимаются за предсказания, что никто никогда не знал его в другом виде, что он изредка хаживал к бабушке и что одни говорили, будто он несчастный сын богатых родителей и чистая душа, а другие, что он просто мужик и лентяй.

Наконец явился давно желанный и пунктуальный Фока, и мы пошли вниз. Гриша, всхлипывая и продолжая говорить разную нелепицу, шел за нами и стучал костылем по ступенькам лестницы. Папа и мама ходили рука об руку по гостиной и о чем-то тихо разговаривали. Марья Ивановна чинно сидела на одном из кресел, симметрично, под прямым углом, примыкавшем к дивану, и строгим, но сдержанным голосом давала наставления сидевшим подле нее девочкам. Как только Карл Иваныч вошел в комнату, она взглянула на него, тотчас же отвернулась, и лицо ее приняло выражение, которое можно передать так: я вас не замечаю, Карл Иваныч. По глазам девочек заметно было, что они очень хотели поскорее передать нам какое-то очень важное известие; но вскочить с своих мест и подойти к нам было бы нарушением правил Мими. Мы сначала должны были подойти к ней, сказать: «Bonjour, Mimi!», шаркнуть ногой, а потом уже позволялось вступать в разговоры.

Что за несносная особа была эта Мими! При ней, бывало, ни о чем нельзя было говорить: она все находила неприличным. Сверх того, она беспрестанно приставала «Parlez donc français»¹⁶, а тут-то, как назло, так и хочется болтать по-русски; или за обедом – только что войдешь во вкус какого-нибудь кушанья и желаешь, чтобы никто не мешал, уж она непременно: «Mangez donc avec du pain» или «Comment ce que vous tenez votre fourchette?»¹⁷ «И какое ей до

¹⁶ Говорите же по-французски (*фр.*).

¹⁷ «Ешьте же с хлебом», «Как вы держите вилку?» (*фр.*)

нас дело! – подумаешь. – Пускай она учит своих девочек, а у нас есть на это Карл Иванович». Я вполне разделял его ненависть к *иным людям*.

– Попроси мамашу, чтобы нас взяли на охоту, – сказала Катенька шепотом, останавливая меня за курточку, когда большие прошли вперед в столовую.

– Хорошо, постараемся.

Гриша обедал в столовой, но за особенным столиком; он не поднимал глаз с своей тарелки, изредка вздыхал, делал страшные гримасы и говорил, как будто сам с собою: «Жалко!.. улетела... улетит голубь в небо... ох, на могиле камень!..» и т. п.

Мама с утра была расстроена; присутствие, слова и поступки Гриши заметно усиливали в ней это расположение.

– Ах да, я было и забыла попросить тебя об одной вещи, – сказала она, подавая отцу тарелку с супом.

– Что такое?

– Вели, пожалуйста, запирать своих страшных собак, а то они чуть не закусали бедного Гришу, когда он проходил по двору. Они этак и на детей могут броситься.

Услыхав, что речь идет о нем, Гриша повернулся к столу, стал показывать изорванные полы своей одежды и, пережевывая, приговаривать:

– Хотел, чтобы загрызли... Бог не попустил. Грех собаками травить! большой грех! Не бей, *большак*¹⁸, что бить? Бог простит... дни не такие.

– Что это он говорит? – спросил папа, пристально и строго рассматривая его. – Я ничего не понимаю.

– А я понимаю, – отвечала мама, – он мне рассказывал, что какой-то охотник нарочно на него пускал собак, так он и говорит: «Хотел, чтобы загрызли, но Бог не попустил», – и просит тебя, чтобы ты за это не наказывал его.

– А! вот что! – сказал папа. – Почему же он знает, что я хочу наказывать этого охотника? Ты знаешь, я вообще не большой охотник до этих господ, – продолжал он по-французски, – но этот особенно мне не нравится и должен быть...

– Ах, не говори этого, мой друг, – прервала его мама, как будто испугавшись чего-нибудь, – почему ты знаешь?

– Кажется, я имел случай изучить эту породу людей – их столько к тебе ходит, – все на один покрой. Вечно одна и та же история...

Видно было, что матушка на этот счет была совершенно другого мнения и не хотела спорить.

– Передай мне, пожалуйста, пирожок, – сказала она. – Что, хороши ли они нынче?

– Нет, меня сердит, – продолжал папа, взяв в руку пирожок, но держа его на таком расстоянии, чтобы мама не могла достать его, – нет, меня сердит, когда я вижу, что люди умные и образованные впадают в обман.

И он ударил вилкой по столу.

– Я тебя просила передать мне пирожок, – повторила она, протягивая руку.

– И прекрасно делают, – продолжал папа, отодвигая руку, – что таких людей сажают в полицию. Они приносят только ту пользу, что расстраивают и без того слабые нервы некоторых особ, – прибавил он с улыбкой, заметив, что этот разговор очень не нравился мамушке, и подал ей пирожок.

– Я на это тебе только одно скажу: трудно поверить, чтобы человек, который, несмотря на свои шестьдесят лет, зиму и лето ходит босой и, не снимая, носит под платьем вериги в два пуда весом и который не раз отказывался от предложений жить спокойно и на всем готовом, – трудно поверить, чтобы такой человек все это делал только из лени. Насчет предсказаний, –

¹⁸ Так он безразлично называл всех мужчин. (Примеч. Л. Н. Толстого.)

прибавила она со вздохом и помолчав немного, – *je suis rayée pour y croire*¹⁹; я тебе рассказывала, кажется, как Кирюша день в день, час в час предсказал покойнику папеньке его кончину.

– Ах, что ты со мной сделала! – сказал папа, улыбаясь и приставив руку ко рту с той стороны, с которой сидела Мими. (Когда он это делал, я всегда слушал с напряженным вниманием, ожидая чего-нибудь смешного.) – Зачем ты мне напомнила об его ногах? я посмотрел и теперь ничего есть не буду.

Обед клонился к концу. Любочка и Катенька беспрестанно подмигивали нам, вертелись на своих стульях и вообще изъясляли сильное беспокойство. Подмигивание это значило: «Что же вы не просите, чтобы нас взяли на охоту?» Я толкнул локтем Володю, Володя толкнул меня и, наконец, решился: сначала робким голосом, потом довольно твердо и громко, он объяснил, что так как мы нынче должны ехать, то желали бы, чтобы девочки вместе с нами поехали на охоту, в линейке. После небольшого совещания между большими вопрос этот решен был в нашу пользу, и – что было еще приятнее – мама сказала, что она сама поедет с нами.

¹⁹ я верю в них недаром (*фр.*).

Глава VI

Приготовления к охоте

Во время пирожного был позван Яков и отданы приказания насчет линейки, собак и верховых лошадей – всё с величайшею подробностью, называя каждую лошадь по имени. Володина лошадь хромала; папа велел оседлать для него охотничью. Это слово: «охотничья лошадь» – как-то странно звучало в ушах татап: ей казалось, что охотничья лошадь должна быть что-то вроде бешеного зверя и что она непременно понесет и убьет Володю. Несмотря на увещания папа и Володи, который с удивительным молодечеством говорил, что это ничего и что он очень любит, когда лошадь несет, бедняжка татап продолжала твердить, что она все гулянье будет мучиться.

Обед кончился; большие пошли в кабинет пить кофе, а мы побежали в сад шаркать ногами по дорожкам, покрытым упавшими желтыми листьями, и разговаривать. Начались разговоры о том, что Володя поедет на охотничьей лошади, о том, как стыдно, что Любочка тише бегают, чем Катенька, о том, что интересно было бы посмотреть вериги Гриши, и т. д.; о том же, что мы расстаемся, ни слова не было сказано. Разговор наш был прерван стуком подъезжавшей линейки, на которой у каждой рессоры сидело по дворовому мальчику. За линейкой ехали охотники с собаками, за охотниками – кучер Игнаг на назначенной Володе лошади и вел в поводу моего старинного клепера. Сначала мы все бросились к забору, от которого видны были все эти интересные вещи, а потом с визгом и топотом побежали на верх одеваться, и одеваться так, чтобы как можно более походить на охотников. Одно из главных к тому средств было всучивание панталон в сапоги. Нимало не медля, мы принялись за это дело, торопясь скорее кончить его и бежать на крыльцо, наслаждаться видом собак, лошадей и разговором с охотниками.

День был жаркий. Белые, причудливых форм тучки с утра показались на горизонте; потом все ближе и ближе стал сгонять их маленький ветерок, так что изредка они закрывали солнце. Сколько ни ходили и ни чернели тучи, видно, не суждено им было собраться в грозу и в последний раз помешать нашему удовольствию. К вечеру они опять стали расходиться: одни побледнели, подлиннели и бежали на горизонт; другие, над самой головой, превратились в белую прозрачную чешую; одна только черная большая туча остановилась на востоке. Карл Иванович всегда знал, куда какая туча пойдет; он объявил, что эта туча пойдет к Масловке, что дождя не будет и погода будет превосходная.

Фока, несмотря на свои преклонные лета, сбежал с лестницы очень ловко и скоро, крикнул: «Подавай!» – и, раздвинув ноги, твердо стал посередине подъезда, между тем местом, куда должен был подкатить линейку кучер, и порогом, в позиции человека, которому не нужно напоминать о его обязанности. Барыни сошли и после небольшого прения о том, кому на какой стороне сидеть и за кого держаться (хотя, мне кажется, совсем не нужно было держаться), уселись, раскрыли зонтики и поехали. Когда линейка тронулась, татап, указывая на «охотничью лошадь», спросила дрожащим голосом у кучера:

– Эта для Владимира Петровича лошадь?

И когда кучер отвечал утвердительно, она махнула рукой и отвернулась. Я был в сильном нетерпении: взлез на свою лошадку, смотрел ей между ушей и делал по двору разные эволюции.

– Собак не извольте раздавить, – сказал мне какой-то охотник.

– Будь покоен: мне не в первый раз, – отвечал я гордо.

Володя сел на «охотничью лошадь», несмотря на твердость своего характера, не без некоторого содрогания, и, оглаживая ее, несколько раз спросил:

– Смирна ли она?

На лошади же он был очень хорош – точно большой. Обтянутые ляжки его лежали на седле так хорошо, что мне было завидно, – особенно потому, что, сколько я мог судить по тени, я далеко не имел такого прекрасного вида.

Вот слышались шаги папа на лестнице; выжлятник подогнал отрыскавших гончих; охотники с борзыми подозвали своих и стали садиться. Стремянный подвел лошадь к крыльцу; собаки своры папа, которые прежде лежали в разных живописных позах около нее, бросились к нему. Вслед за ним, в бисерном ошейнике, побрякивая железкой, весело выбежала Милка. Она, выходя, всегда здоровалась с псарными собаками: с одними поиграет, с другими понюхается и порычит, а у некоторых поищет блох.

Папа сел на лошадь, и мы поехали.

Глава VII

Охота

Доезжачий, прозывавшийся Турка, на голубой горбоносой лошади, в мохнатой шапке, с огромным рогом за плечами и ножом на поясе, ехал впереди всех. По мрачной и свирепой наружности этого человека скорее можно было подумать, что он едет на смертный бой, чем на охоту. Около задних ног его лошади пестрым, волнующимся клубком бежали сомкнутые гончие. Жалко было видеть, какая участь постигала ту несчастную, которой вздумывалось отстать. Ей надо было с большими усилиями перетянуть свою подругу, и когда она достигала этого, один из вылятников, ехавших сзади, непременно хлопал по ней арапником, приговаривая: «В кучу!» Выехав за ворота, папа велел охотникам и нам ехать по дороге, а сам повернул в ржаное поле.

Хлебная уборка была во всем разгаре. Необозримое блестяще-желтое поле замыкалось только с одной стороны высоким синеющим лесом, который тогда казался мне самым отдаленным, таинственным местом, за которым или кончается свет, или начинаются необитаемые страны. Все поле было покрыто копнами и народом. В высокой густой ржи виднелись кой-где на выжатой полосе согнутая спина жницы, взмах колосьев, когда она перекладывала их между пальцев, женщина в тени, нагнувшаяся над люлькой, и разбросанные снопы по усеянному васильками жнивью. В другой стороне мужики в одних рубахах, стоя на телегах, накладывали копны и пылили по сухому, раскаленному полю. Староста, в сапогах и армяке внакидку, с бирками в руке, издалека заметив папа, снял свою поярковую шляпу, утирал рыжую голову и бороду полотенцем и покрикивал на баб. Рыженькая лошадка, на которой ехал папа, шла легкой, игривой ходой, изредка опуская голову к груди, вытягивая поводья и смахивая густым хвостом оводов и мух, которые жадно лепились на нее. Две борзые собаки, напряженно загнув хвост серпом и высоко поднимая ноги, грациозно перепрыгивали по высокому жнивью, за ногами лошади; Милка бежала впереди и, загнув голову, ожидала прикормки. Говор народа, топот лошадей и телег, веселый свист перепелов, жужжание насекомых, которые неподвижными стаями вились в воздухе, запах полыни, соломы и лошадиного пота, тысячи различных цветов и теней, которые разливало палящее солнце по светло-желтому жнивью, синей дали леса и бело-лиловым облакам, белые паутины, которые носились в воздухе или ложились по жнивью, – все это я видел, слышал и чувствовал.

Подъехав к Калиновому лесу, мы нашли линейку уже там и, сверх всякого ожидания, еще телегу в одну лошадь, на середине которой сидел буфетчик. Из-под сена виднелись: самовар, кадка с мороженой формой и еще кой-какие привлекательные узелки и коробочки. Нельзя было ошибиться: это был чай на чистом воздухе, мороженое и фрукты. При виде телеги мы изъявили шумную радость, потому что пить чай в лесу на траве и вообще на таком месте, на котором никто и никогда не пивал чаю, считалось большим наслаждением.

Турка подъехал к острову, остановился, внимательно выслушал от папа подробное наставление, как равняться и куда выходить (впрочем, он никогда не соображался с этим наставлением, а делал по-своему), разомкнул собак, не спеша второчил смычки, сел на лошадь и, посвистывая, скрылся за молодыми березками. Разомкнутые гончие прежде всего маханиями хвостов выразили свое удовольствие, встряхнулись, оправились и потом уже маленькой рысцой, принохиваясь и махая хвостами, побежали в разные стороны.

– Есть у тебя платок? – спросил папа.

Я вынул из кармана и показал ему.

– Ну, так возьми на платок эту серую собаку...

– Жирана? – сказал я с видом знатока.

– Да, и беги по дороге. Когда придет полянка, остановись и смотри: ко мне без зайца не приходите!

Я обмотал платком мохнатую шею Жирана и опрометью бросился бежать к назначенному месту. Папа смеялся и кричал мне вслед:

– Скорей, скорей, а то опоздаешь.

Жиран беспрестанно останавливался, поднимая уши, и прислушивался к порсканью охотников. У меня не доставало сил стащить его с места, и я начинал кричать: «Ату! ату!» Тогда Жиран рвался так сильно, что я насилу мог удерживать его и не раз упал, покуда добрался до места. Избрав у корня высокого дуба тенистое и ровное место, я лег на траву, усадил подле себя Жирана и начал ожидать. Воображение мое, как всегда бывает в подобных случаях, ушло далеко вперед действительности: я воображал себе, что травлю уже третьего зайца, в то время как отозвалась в лесу первая гончая. Голос Турки громче и одушевленное раздался по лесу; гончая взвизгивала, и голос ее слышался чаще и чаще; к нему присоединился другой, басистый голос, потом третий, четвертый... Голоса эти то замолкали, то перебивали друг друга. Звуки постепенно становились сильнее и непрерывнее и, наконец, слились в один звонкий, заливиственный гул. *Остров был голосистый, и гончие варили варом.*

Услышав это, я замер на своем месте. Вперив глаза в опушку, я бессмысленно улыбался; пот катился с меня градом, и хотя капли его, сбегая по подбородку, щекотали меня, я не вытирал их. Мне казалось, что не может быть решительнее этой минуты. Положение этой напряженности было слишком неестественно, чтобы продолжаться долго. Гончие то заливались около самой опушки, то постепенно отдалялись от меня; зайца не было. Я стал смотреть по сторонам. С Жираном было то же самое: сначала он рвался и взвизгивал, потом лег подле меня, положил морду мне на колени и успокоился.

Около оголившихся корней того дуба, под которым я сидел, по серой, сухой земле, между сухими дубовыми листьями, желудями, пересохшими, обомшальными хворостинками, желто-зеленым мхом и изредка пробивавшимися тонкими зелеными травками кишмя кишели муравьи. Они один за другим торопились по пробитым ими торным дорожкам: некоторые с тяжестями, другие порожняком. Я взял в руки хворостину и загородил ею дорогу. Надо было видеть, как одни, презирая опасность, подлезали под нее, другие перелезали через, а некоторые, особенно те, которые были с тяжестями, совершенно терялись и не знали, что делать: останавливались, искали обхода, или ворочались назад, или по хворостинке добирались до моей руки и, кажется, намеревались забраться под рукав моей курточки. От этих интересных наблюдений я был отвлечен бабочкой с желтыми крылышками, которая чрезвычайно заманчиво вилась передо мною. Как только я обратил на нее внимание, она отлетела от меня шага на два, повилась над почти увядшим белым цветком дикого клевера и села на него. Не знаю, солнышко ли ее пригрело, или она брала сок из этой травки, – только видно было, что ей очень хорошо. Она изредка взмахивала крылышками и прижималась к цветку, наконец, совсем замерла. Я положил голову на обе руки и с удовольствием смотрел на нее.

Вдруг Жиран завыл и рванулся с такой силой, что я чуть было не упал. Я оглянулся. На опушке леса, приложив одно ухо и приподняв другое, перепрыгивал заяц. Кровь ударила мне в голову, и я все забыл в эту минуту: закричал что-то неистовым голосом, пустил собаку и бросился бежать. Но не успел я этого сделать, как уже стал раскаиваться: заяц присел, сделал прыжок и больше я его не видал.

Но каков был мой стыд, когда вслед за гончими, которые в голос вывели на опушку, из-за кустов показался Турка! Он видел мою ошибку (которая состояла в том, что я не *выдержал*) и, презрительно взглянув на меня, сказал только: «Эх, барин!» Но надо знать, как это было сказано! Мне было бы легче, ежели бы он меня, как зайца, повесил на седло.

Долго стоял я в сильном отчаянии на том же месте, не звал собаки и только твердил, ударяя себя по ляжкам:

– Боже мой, что я наделал!

Я слышал, как гончие погнались дальше, как заатукали на другой стороне острова, отбили зайца и как Турка в свой огромный рог вызывал собак, – но все не трогался с места...

Глава VIII

Игры

Охота кончилась. В тени молодых березок был разостлан ковер, и на ковре кружком сидело все общество. Буфетчик Гаврило, примяв около себя зеленую, сочную траву, перетирал тарелки и доставал из коробочки завернутые в листья сливы и персики. Сквозь зеленые ветви молодых берез просвечивало солнце и бросало на узоры ковра, на мои ноги и даже на плешивую вспотевшую голову Гаврилы круглые колеблющиеся просветы. Легкий ветерок, пробегая по листьям деревьев, по моим волосам и вспотевшему лицу, чрезвычайно освежал меня.

Когда нас оделили мороженым и фруктами, делать на ковре было нечего, и мы, несмотря на косые, палящие лучи солнца, встали и отправились играть.

– Ну, во что? – сказала Любочка, шурясь от солнца и припрыгивая по траве. – Давайте в Робинзона.

– Нет... скучно, – сказал Володя, лениво повалившись на траву и пережевывая листья, – вечно Робинзон! Ежели непременно хотите, так давайте лучше беседочку строить.

Володя заметно важничал: должно быть, он гордился тем, что приехал на охотничьей лошади, и притворялся, что очень устал. Может быть, и то, что у него уже было слишком много здравого смысла и слишком мало силы воображения, чтобы вполне наслаждаться игрою в Робинзона. Игра эта состояла в представлении сцен из «Robinson Suisse»²⁰, которого мы читали незадолго пред этим.

– Ну, пожалуйста... отчего ты не хочешь сделать нам этого удовольствия? – приставали к нему девочки. – Ты будешь Charles, или Ernest, или отец – как хочешь? – говорила Катенька, стараясь за рукав курточки приподнять его с земли.

– Право, не хочется – скучно! – сказал Володя, потягиваясь и вместе с тем самодовольно улыбаясь.

– Так лучше бы дома сидеть, коли никто не хочет играть, – сквозь слезы выговорила Любочка.

Она была страшная плакса.

– Ну, пойдемте; только не плачь, пожалуйста: терпеть не могу!

Снисхождение Володи доставило нам очень мало удовольствия; напротив, его ленивый и скучный вид разрушал все очарование игры. Когда мы сели на землю и, воображая, что плывем на рыбную ловлю, изо всех сил начали грести, Володя сидел сложа руки и в позе, не имеющей ничего схожего с позой рыболова. Я заметил ему это; но он отвечал, что оттого, что мы будем больше или меньше махать руками, мы ничего не выиграем и не проиграем и все же далеко не уедем. Я невольно согласился с ним. Когда, воображая, что я иду на охоту, с палкой на плече, я отправился в лес, Володя лег на спину, закинул руки под голову и сказал мне, что будто бы и он ходил. Такие поступки и слова, охлаждая нас к игре, были крайне неприятны, тем более что нельзя было в душе не согласиться, что Володя поступает благоразумно.

Я сам знаю, что из палки не только что убить птицу, да и выстрелить никак нельзя. Это игра. Коли так рассуждать, то и на стульях ездить нельзя; а Володя, я думаю, сам помнит, как в долгие зимние вечера мы накрывали кресло платками, делали из него коляску, один садился кучером, другой лакеем, девочки в середину, три стула были тройка лошадей, – и мы отправлялись в дорогу. И какие разные приключения случались в этой дороге! и как весело и скоро проходили зимние вечера!.. Ежели судить по-настоящему, то игры никакой не будет. А игры не будет, что ж тогда остается?..

²⁰ «Швейцарского Робинзона» (фр.).

Глава IX

Что-то вроде первой любви

Представляя, что она рвет с дерева какие-то американские фрукты, Любочка сорвала на одном листке огромной величины червяка, с ужасом бросила его на землю, подняла руки кверху и отскочила, как будто боясь, чтобы из него не брызнуло чего-нибудь. Игра прекратилась: мы все, головами вместе, припали к земле – смотреть эту редкость.

Я смотрел через плечо Катеньки, которая старалась поднять червяка на листочке, подставляя ему его на дороге.

Я заметил, что многие девочки имеют привычку подергивать плечами, стараясь этим движением привести спустившееся платье с открытой шеей на настоящее место. Еще помню, что Мими всегда сердилась за это движение и говорила: «*C'est un geste de femme de chambre*»²¹. Нагнувшись над червяком, Катенька сделала это самое движение, и в то же время ветер поднял косыночку с ее беленькой шейки. Плечико во время этого движения было на два пальца от моих губ. Я смотрел уже не на червяка, смотрел-смотрел и изо всех сил поцеловал плечо Катеньки. Она не обернулась, но я заметил, что шейка ее и уши покраснели. Володя, не поднимая головы, презрительно сказал:

– Что за нежности?

У меня же были слезы на глазах.

Я не спускал глаз с Катеньки. Я давно уже привык к ее свеженькому белокуренькому личику и всегда любил его; но теперь я внимательнее стал всматриваться в него и полюбил еще больше. Когда мы подошли к большим, папа, к великой нашей радости, объявил, что, по просьбе матушки, поездка отложена до завтрашнего утра.

Мы поехали назад вместе с линейкой. Володя и я, желая превзойти один другого искусством ездить верхом и молодечеством, гарцевали около нее. Тень моя была длиннее, чем прежде, и, судя по ней, я предполагал, что имею вид довольно красивого всадника; но чувство самодовольства, которое я испытывал, было скоро разрушено следующим обстоятельством. Желая окончательно прельстить всех сидевших в линейке, я отстал немного, потом с помощью хлыста и ног разогнал свою лошадку, принял непринужденно-грациозное положение и хотел вихрем пронестись мимо их, с той стороны, с которой сидела Катенька. Я не знал только, что лучше: молча ли проскакать или крикнуть? Но несносная лошадка, поравнявшись с упряжными, несмотря на все мои усилия, остановилась так неожиданно, что я перескочил с седла на шею и чуть-чуть не полетел.

²¹ Это жест горничной (фр.).

Глава X

Что за человек был мой отец?

Он был человек прошлого века и имел общий молодежи того века неуловимый характер рыцарства, предприимчивости, самоуверенности, любезности и разгула. На людей нынешнего века он смотрел презрительно, и взгляд этот происходил столько же от врожденной гордости, сколько от тайной досады за то, что в наш век он не мог иметь ни того влияния, ни тех успехов, которые имел в свой. Две главные страсти его в жизни были карты и женщины; он выиграл в продолжение своей жизни несколько миллионов и имел связи с бесчисленным числом женщин всех сословий.

Большой статный рост, странная, маленькими шагками, походка, привычка подергивать плечом, маленькие, всегда улыбающиеся глазки, большой орлиный нос, неправильные губы, которые как-то неловко, но приятно складывались, недостаток в произношении – прищепывание, и большая во всю голову лысина: вот наружность моего отца, с тех пор как я его запомню, – наружность, с которою он умел не только прослыть и быть человеком *à bonnes fortunes*²², но нравиться всем без исключения – людям всех сословий и состояний, в особенности же тем, которым хотел нравиться.

Он умел взять верх в отношениях со всяким. Не был никогда человеком *очень большого света*, он всегда водился с людьми этого круга, и так, что был уважаем. Он знал ту крайнюю меру гордости и самонадеянности, которая, не оскорбляя других, возвышала его в мнении света. Он был оригинален, но не всегда, а употреблял оригинальность как средство, заменяющее в иных случаях светскость или богатство. Ничто на свете не могло возбудить в нем чувства удивления: в каком бы он ни был блестящем положении, – казалось, он для него был рожден. Он так хорошо умел скрывать от других и удалять от себя известную всем темную, наполненную мелкими досадами и огорчениями сторону жизни, что нельзя было не завидовать ему. Он был знаток всех вещей, доставляющих удобства и наслаждения, и умел пользоваться ими. Конек его был блестящие связи, которые он имел частью по родству моей матери, частью по своим товарищам молодости, на которых он в душе сердился за то, что они далеко ушли в чинах, а он навсегда остался отставным поручиком гвардии. Он, как и все бывшие военные, не умел одеваться по-модному; но зато он одевался оригинально и изящно. Всегда очень широкое и легкое платье, прекрасное белье, большие отвороченные манжеты и воротнички... Впрочем, все шло к его большому росту, сильному сложению, лысой голове и спокойным, самоуверенным движениям. Он был чувствителен и даже слезлив. Часто, читая вслух, когда он доходил до патетического места, голос его начинал дрожать, слезы показывались, и он с досадой оставлял книгу. Он любил музыку, пел, аккомпанируя себе на фортепьяно, романсы приятеля своего А..., цыганские песни и некоторые мотивы из опер; но ученой музыки не любил и, не обращая внимания на общее мнение, откровенно говорил, что сонаты Бетховена нагоняют на него сон и скуку и что он не знает лучше ничего, как «Не будите меня, молодую», как ее певала Семенова, и «Не одна», как певала цыганка Танюша. Его натура была одна из тех, которым для хорошего дела необходима публика. И то только он считал хорошим, что называла хорошим публика. Бог знает, были ли у него какие-нибудь нравственные убеждения? Жизнь его была так полна увлечениями всякого рода, что ему некогда было составлять себе их, да он и был так счастлив в жизни, что не видел в том необходимости.

В старости у него образовался постоянный взгляд на вещи и неизменные правила, – но единственно на основании практическом: те поступки и образ жизни, которые доставляли ему

²² удачливым (фр.).

счастье или удовольствия, он считал хорошими и находил, что так всегда и всем поступать должно. Он говорил очень увлекательно, и эта способность, мне кажется, усиливала гибкость его правил: он в состоянии был тот же поступок рассказать как самую милую шалость и как низкую подлость.

Глава XI ЗАНЯТИЯ В КАБИНЕТЕ И ГОСТИНОЙ

Уже смеркалось, когда мы приехали домой. Матап села за рояль, а мы, дети, принесли бумаги, карандаши, краски и расположились рисовать около круглого стола. У меня была только синяя краска; но, несмотря на это, я затеял нарисовать охоту. Очень живо изобразив синего мальчика верхом на синей лошади и синих собак, я не знал наверное, можно ли нарисовать синего зайца, и побежал к папа в кабинет посоветоваться об этом. Папа читал что-то и на вопрос мой: «Бывают ли синие зайцы?», не поднимая головы, отвечал: «Бывают, мой друг, бывают». Возвратившись к круглому столу, я изобразил синего зайца, потом нашел нужным переделать из синего зайца куст. Куст тоже мне не понравился; я сделал из него дерево, из дерева – скирд, из скирда – облако и, наконец, так испачкал всю бумагу синей краской, что с досады разорвал ее и пошел дремать на вольтеровское кресло.

Матап играла второй концерт Фильда – своего учителя. Я дремал, и в моем воображении возникали какие-то легкие, светлые и прозрачные воспоминания. Она заиграла патетическую сонату Бетховена, и я вспоминал что-то грустное, тяжелое и мрачное. Матап часто играла эти две пьесы; поэтому я очень хорошо помню чувство, которое они во мне возбуждали. Чувство это было похоже на воспоминание; но воспоминание чего? казалось, что вспоминаешь то, чего никогда не было.

Против меня была дверь в кабинет, и я видел, как туда вошли Яков и еще какие-то люди в кафтанах и с бородами. Дверь тотчас затворилась за ними. «Ну, начались занятия!» – подумал я. Мне казалось, что важнее тех дел, которые делались в кабинете, ничего в мире быть не могло; в этой мысли подтверждало меня еще то, что к дверям кабинета все подходили обыкновенно перешептываясь и на цыпочках; оттуда же был слышен громкий голос папа и запах сигары, который всегда, не знаю почему, меня очень привлекал. Впросонках меня вдруг поразил очень знакомый скрип сапогов в официантской. Карл Иваныч, на цыпочках, но с лицом мрачным и решительным, с какими-то записками в руке, подошел к двери и слегка постучался. Его впустили, и дверь опять захлопнулась.

«Как бы не случилось какого-нибудь несчастья, – подумал я, – Карл Иваныч рассержен: он на все готов...»

Я опять задремал.

Однако несчастья никакого не случилось; через час времени меня разбудил тот же скрип сапогов. Карл Иваныч, утирая платком слезы, которые я заметил на его щеках, вышел из двери и, бормоча что-то себе под нос, пошел на верх. Вслед за ним вышел папа и вошел в гостиную.

– Знаешь, что я сейчас решил? – сказал он веселым голосом, положив руку на плечо матап.

– Что, мой друг?

– Я беру Карла Иваныча с детьми. Место в бричке есть. Они к нему привыкли, и он к ним, кажется, точно привязан; а семьсот рублей в год никакого счета не делают, et puis au fond c'est un très bon diable²³.

Я никак не мог постигнуть, зачем папа бранит Карла Иваныча.

– Я очень рада, – сказала матап, – за детей, за него: он славный старик.

– Если бы ты видела, как он был тронут, когда я ему сказал, чтобы он оставил эти пятьсот рублей в виде подарка... но что забавнее всего – это счет, который он принес мне. Это стоит посмотреть, – прибавил он с улыбкой, подавая ей записку, написанную рукою Карла Иваныча, – прелесть!

Вот содержание этой записки:

²³ и потом, в сущности, он славный малый (*фр.*).

«Для детей два удочка – 70 копек.

Цветной бумага, золотой коемочка, клестир и болван для коробочка, в подарках – 6 р. 55 к.

Книга и лук, подарка детям – 8 р. 16 к.

Панталон Николаю – 4 рубли.

Обещаны Петром Александровичем из Москву в 18.. году золотые часы в 140 рублей.

Итого следует получить Карлу Мауеру, кроме жалованию – 159 рублей 79 копек».

Прочтя эту записку, в которой Карл Иваныч требует, чтобы ему заплатили все деньги, издержанные им на подарки, и даже заплатили бы за обещанный подарок, всякий подумает, что Карл Иваныч больше ничего, как бесчувственный и корыстолюбивый себялюбец, – и всякий ошибется.

Войдя в кабинет с записками в руке и с приготовленной речью в голове, он намеревался красноречиво изложить перед папа все несправедливости, претерпенные им в нашем доме; но когда он начал говорить тем же трогательным голосом и с теми же чувствительными интонациями, с которыми он обыкновенно диктовал нам, его красноречие подействовало сильнее всего на него самого; так что, дойдя до того места, в котором он говорил: «как ни грустно мне будет расстаться с детьми», он совсем сбился, голос его задрожал, и он принужден был достать из кармана клетчатый платок.

– Да, Петр Александрыч, – сказал он сквозь слезы (этого места совсем не было в приготовленной речи), – я так привык к детям, что не знаю, что буду делать без них. Лучше я без жалованья буду служить вам, – прибавил он, одной рукой утирая слезы, а другой подавая счет.

Что Карл Иваныч в эту минуту говорил искренно, это я утвердительно могу сказать, потому что знаю его доброе сердце; но каким образом согласовался счет с его словами, остается для меня тайной.

– Если вам грустно, то мне было бы еще грустнее расстаться с вами, – сказал папа, потрепав его по плечу, – я теперь раздумал.

Незадолго перед ужином в комнату вошел Гриша. Он с самого того времени, как вошел в наш дом, не переставал вздыхать и плакать, что, по мнению тех, которые верили в его способность предсказывать, предвещало какую-нибудь беду нашему дому. Он стал прощаться и сказал, что завтра утром пойдет дальше. Я подмигнул Володе и вышел в дверь.

– Что?

– Если хотите посмотреть Гришины вериги, то пойдемте сейчас на мужской верх – Гриша спит во второй комнате, – в чулане прекрасно можно сидеть, и мы всё увидим.

– Отлично! Подожди здесь: я позову девочек.

Девочки выбежали, и мы отправились на верх. Не без спору решив, кому первому войти в темный чулан, мы уселись и стали ждать.

Глава XII

Гриша

Нам всем было жутко в темноте; мы жались один к другому и ничего не говорили. Почти вслед за нами тихими шагами вошел Гриша. В одной руке он держал свой посох, в другой – сальную свечу в медном подсвечнике. Мы не переводили дыхания.

– Господи Иисусе Христе! Мати Пресвятая Богородица! Отцу и Сыну и Святому духу... – вдыхая в себя воздух, твердил он с различными интонациями и сокращениями, свойственными только тем, которые часто повторяют эти слова.

С молитвой поставив свой посох в угол и осмотрев постель, он стал раздеваться. Распоясав свой старенький черный кушак, он медленно снял изорванный нанковый зипун, тщательно сложил его и повесил на спинку стула. Лицо его теперь не выражало, как обыкновенно, торопливости и тупоумия; напротив, он был спокоен, задумчив и даже величав. Движения его были медленны и обдуманно.

Оставшись в одном белье, он тихо опустился на кровать, окрестил ее со всех сторон и, как видно было, с усилием – потому что он поморщился – поправил под рубашкой вериги. Посидев немного и заботливо осмотрев прорванное в некоторых местах белье, он встал, с молитвой поднял свечу в уровень с кивотом, в котором стояло несколько образов, перекрестился на них и перевернул свечу огнем вниз. Она с треском потухла.

В окна, обращенные на лес, ударяла почти полная луна. Длинная белая фигура юродивого с одной стороны была освещена бледными, серебристыми лучами месяца, с другой – черной тенью; вместе с тенями от рам падала на пол, стены и доставала до потолка. На дворе караульщик стучал в чугунную доску.

Сложив свои огромные руки на груди, опустив голову и беспрестанно тяжело вздыхая, Гриша молча стоял перед иконами, потом с трудом опустился на колени и стал молиться.

Сначала он тихо говорил известные молитвы, ударяя только на некоторые слова, потом повторил их, но громче и с большим одушевлением. Он начал говорить свои слова, с заметным усилием стараясь выражаться по-славянски. Слова его были нескладны, но трогательны. Он молился о всех благодетелях своих (так он называл тех, которые принимали его), в том числе о матушке, о нас, молился о себе, просил, чтобы Бог простил ему его тяжкие грехи, твердил: «Боже, прости врагам моим!» – кряхтя поднимался и, повторяя еще и еще те же слова, припадал к земле и опять поднимался, несмотря на тяжесть вериг, которые издавали сухой резкий звук, ударяясь о землю.

Володя ущипнул меня очень больно за ногу; но я даже не оглянулся: потер только рукой то место и продолжал с чувством детского удивления, жалости и благоговения следить за всеми движениями и словами Гриши.

Вместо веселия и смеха, на которые я рассчитывал, входя в чулан, я чувствовал дрожь и замирание сердца.

Долго еще находился Гриша в этом положении религиозного восторга и импровизировал молитвы. То твердил он несколько раз сряду: «Господи помилуй», но каждый раз с новой силой и выражением; то говорил он: «Прости мя, Господи, научи мя, что творить... научи мя, что творити, Господи!» – с таким выражением, как будто ожидал сейчас же ответа на свои слова; то слышны были одни жалобные рыдания... Он приподнялся на колени, сложил руки на груди и замолк.

Я потихоньку высунул голову из двери и не переводил дыхания. Гриша не шевелился; из груди его вырывались тяжелые вздохи; в мутном зрачке его кривого глаза, освещенного луною, остановилась слеза.

– Да будет воля твоя! – вскричал он вдруг с неподражаемым выражением, упал лбом на землю и зарыдал, как ребенок.

Много воды утекло с тех пор, много воспоминаний о былом потеряли для меня значение и стали смутными мечтами, даже и странник Гриша давно окончил свое последнее странствование; но впечатление, которое он произвел на меня, и чувство, которое возбудил, никогда не умрут в моей памяти.

О великий христианин Гриша! Твоя вера была так сильна, что ты чувствовал близость Бога, твоя любовь так велика, что слова сами собою лились из уст твоих – ты их не поверял рассудком... И какую высокую хвалу ты принес его величию, когда, не находя слов, в слезах повалился на землю!..

Чувство умиления, с которым я слушал Гришу, не могло долго продолжаться, во-первых, потому, что любопытство мое было насыщено, а во-вторых, потому, что я отсидел себе ноги, сидя на одном месте, и мне хотелось присоединиться к общему шептанью и возне, которые слышались сзади меня в темном чулане. Кто-то взял меня за руку и шепотом сказал: «Чья это рука?» В чулане было совершенно темно; но по одному прикосновению и голосу, который шептал мне над самым ухом, я тотчас узнал Катеньку.

Совершенно бессознательно я схватил ее руку в коротеньких рукавчиках за локоть и припал к ней губами. Катенька, верно, удивилась этому поступку и отдернула руку: этим движением она толкнула сломанный стул, стоявший в чулане. Гриша поднял голову, тихо оглянулся и, читая молитвы, стал крестить все углы. Мы с шумом и шепотом выбежали из чулана.

Глава XIII Наталья Савишна

В половине прошлого столетия по дворам села Хабаровки бегала в затрапезном платье босоногая, но веселая, толстая и краснощекая девка *Наташка*. По заслугам и просьбе отца ее, кларнетиста Саввы, дед мой взял ее *в верх* – находиться в числе женской прислуги бабушки. Горничная *Наташка* отличалась в этой должности кротостью нрава и усердием. Когда родилась матушка и понадобилась няня, эту обязанность возложили на *Наташку*. И на этом новом поприще она заслужила похвалы и награды за свою деятельность, верность и привязанность к молодой госпоже. Но напудренная голова и чулки с пряжками молодого бойкого офицанта Фоки, имевшего по службе частые сношения с Натальей, пленили ее грубое, но любящее сердце. Она даже сама решилась идти к дедушке просить позволения выйти за Фоку замуж. Дедушка принял ее желание за неблагодарность, прогневался и сослал бедную Наталью за наказание на скотный двор в степную деревню. Через шесть месяцев, однако, так как никто не мог заменить Наталью, она была возвращена в двор и в прежнюю должность. Возвратившись в затрапезку из изгнания, она явилась к дедушке, упала ему в ноги и просила возвратить ей милость, ласку и забыть ту дурь, которая на нее нашла было и которая, она клялась, уже больше не возвратится. И действительно, она сдержала свое слово.

С тех пор Наташка сделалась Натальей Савишной и надела чепец; весь запас любви, который в ней хранился, она перенесла на барышню свою.

Когда подле матушки заменила ее гувернантка, она получила ключи от кладовой, и ей на руки сданы были белье и вся провизия. Новые обязанности эти она исполняла с тем же усердием и любовью. Она вся жила в барском добре, во всем видела трату, порчу, расхищение и всеми средствами старалась противодействовать.

Когда матан вышла замуж, желая чем-нибудь отблагодарить Наталью Савишну за ее двадцатилетние труды и привязанность, она позвала ее к себе и, выразив в самых лестных словах всю свою к ней признательность и любовь, вручила ей лист гербовой бумаги, на котором была написана вольная Наталье Савишне, и сказала, что, несмотря на то, будет ли она или нет продолжать служить в нашем доме, она всегда будет получать ежегодную пенсию в триста рублей. Наталья Савишна молча выслушала все это, потом, взяв в руки документ, злобно взглянула на него, пробормотала что-то сквозь зубы и выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Не понимая причины такого странного поступка, матан немного погодя вошла в комнату Натальи Савишны. Она сидела с заплаканными глазами на сундуке, перебирая пальцами носовой платок, и пристально смотрела на валявшиеся на полу перед ней клочки изорванной вольной.

– Что с вами, голубушка Наталья Савишна? – спросила матан, взяв ее за руку.

– Ничего, матушка, – отвечала она, – должно быть, я вам чем-нибудь противна, что вы меня со двора гоните... Что ж, я пойду.

Она вырвала свою руку и, едва удерживаясь от слез, хотела уйти из комнаты. Матан удержала ее, обняла, и они обе расплакались.

С тех пор как я себя помню, помню я и Наталью Савишну, ее любовь и ласки; но теперь только умею ценить их, – тогда же мне и в голову не приходило, какое редкое, чудесное создание была эта старушка. Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себе: вся жизнь ее была любовь и самопожертвование. Я так привык к ее бескорыстной, нежной любви к нам, что и не воображал, чтобы это могло быть иначе, нисколько не был благодарен ей и никогда не задавал себе вопросов: а что, счастлива ли она? довольна ли?

Бывало, под предлогом необходимой надобности, прибежишь от урока в ее комнату, усядешься и начинаешь мечтать вслух, нисколько не стесняясь ее присутствием. Всегда она бывала чем-нибудь занята: или вязала чулок, или рылась в сундуках, которыми была наполнена ее

комната, или записывала белье и, слушая всякий вздор, который я говорил, «как, когда я буду генералом, я женюсь на чудесной красавице, куплю себе рыжую лошадь, построю стеклянный дом и выпишу родных Карла Иваныча из Саксонии» и т. д., она приговаривала: «Да, мой батюшка, да». Обыкновенно, когда я вставал и собирался уходить, она отворяла голубой сундук, на крышке которого внутри – как теперь помню – были наклеены крашеное изображение какого-то гусара, картинка с помадной баночки и рисунок Володи, – вынимала из этого сундука куренье, зажигала его, и помахивая, говаривала:

– Это, батюшка, еще очаковское куренье. Когда ваш покойный дедушка – царство небесное – под турку ходили, так оттуда еще привезли. Вот уж последний кусочек остался, – прибавляла она со вздохом.

В сундуках, которыми была наполнена ее комната, было решительно все. Что бы ни понадобилось, обыкновенно говаривали: «Надо спросить у Натальи Савишны», – и действительно, порывшись немного, она находила требуемый предмет и говаривала: «Вот и хорошо, что припрятала». В сундуках этих были тысячи таких предметов, о которых никто в доме, кроме ее, не знал и не заботился.

Один раз я на нее рассердился. Вот как это было. За обедом, наливая себе квасу, я уронил графин и облил скатерть.

– Позовите-ка Наталью Савишну, чтобы она порадовалась на своего любимчика, – сказала татап.

Наталья Савишна вошла и, увидав лужу, которую я сделал, покачала головой; потом татап сказала ей что-то на ухо, и она, погрозившись на меня, вышла.

После обеда я в самом веселом расположении духа, припрыгивая, отправился в залу, как вдруг из-за двери выскочила Наталья Савишна с скатертью в руке, поймала меня и, несмотря на отчаянное сопротивление с моей стороны, начала тереть меня мокрым по лицу, приговаривая: «Не пачкай скатертей, не пачкай скатертей!» Меня так это обидело, что я разревелся от злости.

«Как! – говорил я сам себе, прохаживаясь по зале и захлебываясь от слез. – Наталья Савишна, просто *Наталья*, говорит *мне ты* и еще бьет меня по лицу мокрой скатертью, как дворового мальчишку. Нет, это ужасно!»

Когда Наталья Савишна увидала, что я распустил слюни, она тотчас же убежала, а я, продолжая прохаживаться, рассуждал о том, как бы отплатить дерзкой Наталье за нанесенное мне оскорбление.

Через несколько минут Наталья Савишна вернулась, робко подошла ко мне и начала увещевать:

– Полноте, мой батюшка, не плачьте... простите меня, дуру... я виновата... уж вы меня простите, мой голубчик... вот вам.

Она вынула из-под платка корнет, сделанный из красной бумаги, в котором были две карамельки и одна винная ягода, и дрожащей рукой подала его мне. У меня недоставало сил взглянуть в лицо доброй старушке; я, отвернувшись, принял подарок, и слезы потекли еще обильнее, но уже не от злости, а от любви и стыда.

Глава XIV

Разлука

На другой день после описанных мною происшествий, в двенадцатом часу утра, коляска и бричка стояли у подъезда. Николай был одет по-дорожному, то есть штаны были всунуты в сапоги и старый сюртук туго-натуго подпоясан кушаком. Он стоял в бричке и укладывал шинели и подушки под сиденье; когда оно ему казалось высоко, он садился на подушки и, припрыгивая, обминал их.

– Сделайте божескую милость, Николай Дмитрич, нельзя ли к вам будет баринову щикатулку положить, – сказал запыхавшийся камердинер папа, высовываясь из коляски, – она маленькая.

– Вы бы прежде говорили, Михей Иваныч, – отвечал Николай скороговоркой и с досадой, изо всех сил бросая какой-то узелок на дно брички. – Ей-богу, голова и так кругом идет, а тут еще вы с вашими щикатулками, – прибавил он, приподняв фуражку и утирая с загорелого лба крупные капли пота.

Дворовые мужчины, в сюртуках, кафтанах, рубашках, без шапок, женщины, в затрапезах, полосатых платках, с детьми на руках, и босоногие ребятишки стояли около крыльца, посматривали на экипажи и разговаривали между собой. Один из ямщиков – сгорбленный старик в зимней шапке и армяке – держал в руке дышло коляски, потрогивал его и глубокомысленно посматривал на ход; другой – видный молодой парень, в одной белой рубахе с красными кумачовыми ластовицами, в черной поярковой шляпе черепеником, которую он, почесывая свои белокурые кудри, сбивал то на одно, то на другое ухо, – положил свой армяк на козлы, закинул туда же вожжи и, постегивая плетеным кнутиком, посматривал то на свои сапоги, то на кучеров, которые мазали бричку. Один из них, натужившись, держал подъем; другой, нагнувшись над колесом, тщательно мазал ось и втулку, – даже, чтобы не пропал остаток на помазке деготь, мазнул им снизу по кругу. Почтовые, разномастные, разбитые лошади стояли у решетки и отмахивались от мух хвостами. Одни из них, выставляя свои косматые оплывшие ноги, жмурились глаза и дремали; другие от скуки чесали друг друга или щипали листья и стебли жесткого темно-зеленого папоротника, который рос подле крыльца. Несколько борзых собак – одни тяжело дышали, лежа на солнце, другие в тени ходили под коляской и бричкой и вылизывали сало около осей. Во всем воздухе была какая-то пыльная мгла, горизонт был серо-лилового цвета; но ни одной тучки не было на небе. Сильный западный ветер поднимал столбами пыль с дорог и полей, гнул макушки высоких лип и берез сада и далеко относил падавшие желтые листья. Я сидел у окна и с нетерпением ожидал окончания всех приготовлений.

Когда все собрались в гостиной около круглого стола, чтобы в последний раз провести несколько минут вместе, мне и в голову не приходило, какая грустная минута предстоит нам. Самые пустые мысли бродили в моей голове. Я задавал себе вопросы: какой ямщик поедет в бричке и какой в коляске? кто поедет с папа, кто с Карлом Иванычем? и для чего непременно хотят меня укутать в шарф и ваточную чуйку?

«Что я за неженка? авось не замерзну. Хоть бы поскорей это все кончилось: сесть бы и ехать».

– Кому прикажете записку о детском белье отдать? – сказала вошедшая, с заплаканными глазами и с запиской в руке, Наталья Савишна, обращаясь к татапу.

– Николаю отдайте, да приходите же после с детьми проститься.

Старушка хотела что-то сказать, но вдруг остановилась, закрыла лицо платком и, махнув рукою, вышла из комнаты. У меня немного защемило в сердце, когда я увидел это движение; но нетерпение ехать было сильнее этого чувства, и я продолжал совершенно равнодушно слушать разговор отца с матушкой. Они говорили о вещах, которые заметно не интересовали ни того,

ни другого: что нужно купить для дома? что сказать княжне Sophie и madame Julie? и хороша ли будет дорога?

Вошел Фока и точно тем же голосом, которым он докладывал «кушать готово», остановившись у притолоки, сказал: «Лошади готовы». Я заметил, что мама вздрогнула и побледнела при этом известии, как будто оно было для нее неожиданно.

Фоке приказано было затворить все двери в комнате. Меня это очень забавляло, «как будто все спрятались от кого-нибудь».

Когда все сели, Фока тоже присел на кончике стула; но только что он это сделал, дверь скрипнула, и все оглянулись. В комнату торопливо вошла Наталья Савишна и, не поднимая глаз, приютилась около двери на одном стуле с Фокой. Как теперь вижу я плешивую голову, морщинистое неподвижное лицо Фоки и сгорбленную добрую фигурку в чепце, из-под которого виднеются седые волосы. Они жмутся на одном стуле, и им обоим неловко.

Я продолжал быть беззаботен и нетерпелив. Десять секунд, которые просидели с закрытыми дверями, показались мне за целый час. Наконец все встали, перекрестились и стали прощаться. Папа обнял маму и несколько раз поцеловал ее.

– Полно, мой дружок, – сказал папа, – ведь не навек расстаемся.

– Все-таки грустно! – сказала мама дрожащим от слез голосом.

Когда я услышал этот голос, увидел ее дрожащие губы и глаза, полные слез, я забыл про все и мне так стало грустно, больно и страшно, что хотелось бы лучше убежать, чем прощаться с нею. Я понял в эту минуту, что, обнимая отца, она уже прощалась с нами.

Она столько раз принималась целовать и крестить Володю, что – полагая, что она теперь обратится ко мне, – я совался вперед; но она еще и еще благословляла его и прижимала к груди. Наконец я обнял ее и, прильнув к ней, плакал, плакал, ни о чем не думая, кроме своего горя.

Когда мы пошли садиться, в передней приступила прощаться докучная дворня. Их «пожалуйста ручку-с», звучные поцелуи в плечико и запах сала от их голов возбудили во мне чувство, самое близкое к огорчению у людей раздражительных. Под влиянием этого чувства я чрезвычайно холодно поцеловал в чепец Наталью Савишну, когда она вся в слезах прощалась со мною.

Странно то, что я как теперь вижу все лица дворовых и мог бы нарисовать их со всеми мельчайшими подробностями; но лицо и положение мамы решительно ускользают из моего воображения: может быть, оттого, что во все это время я ни разу не мог собраться с духом взглянуть на нее. Мне казалось, что, если бы я это сделал, ее и моя горечь должны бы были дойти до невозможных пределов.

Я бросился прежде всех в коляску и уселся на заднем месте. За поднятым верхом я ничего не мог видеть, но какой-то инстинкт говорил мне, что мама еще здесь.

«Посмотреть ли на нее еще или нет?.. Ну, в последний раз!» – сказал я сам себе и высунулся из коляски к крыльцу. В это время мама с тою же мыслью подошла с противоположной стороны коляски и позвала меня по имени. Услышав ее голос сзади себя, я повернулся к ней, но так быстро, что мы стукнулись головами; она грустно улыбнулась и крепко, крепко поцеловала меня в последний раз.

Когда мы отъехали несколько сажень, я решил взглянуть на нее. Ветер поднимал голубенькую косыночку, которою была повязана ее голова; опустив голову и закрыв лицо руками, она медленно всходила на крыльцо. Фока поддерживал ее.

Папа сидел со мной рядом и ничего не говорил; я же захлебывался от слез, и что-то так давило мне в горле, что я боялся задохнуться... Выехав на большую дорогу, мы увидели белый платок, которым кто-то махал с балкона. Я стал махать своим, и это движение немного успокоило меня. Я продолжал плакать, и мысль, что слезы мои доказывают мою чувствительность, доставляла мне удовольствие и отраду.

Отъехав с версту, я уселся попокойнее и с упорным вниманием стал смотреть на ближайший предмет перед глазами – заднюю часть пристяжной, которая бежала с моей стороны. Смотрел я, как махала хвостом эта пегая пристяжная, как забивала она одну ногу о другую, как доставал по ней плетеный кнут ямщика и ноги начинали прыгать вместе; смотрел, как прыгала на ней шлея и на шлее кольца, и смотрел до тех пор, покуда эта шлея покрылась около хвоста мылом. Я стал смотреть кругом: на волнующиеся поля спелой ржи, на темный пар, на котором кое-где виднелись соха, мужик, лошадь с жеребенком, на верстовые столбы, заглянул даже на козлы, чтобы узнать, какой ямщик с нами едет; и еще лицо мое не просохло от слез, как мысли мои были далеко от матери, с которой я расстался, может быть, навсегда. Но всякое воспоминание наводило меня на мысль о ней. Я вспомнил о грибе, который нашел накануне в березовой аллее, вспомнил о том, как Любочка с Катенькой поспорили – кому сорвать его, вспомнил и о том, как они плакали, прощаясь с нами.

Жалко их! и Наталью Савишну жалко, и березовую аллею, и Фоку жалко! Даже злую Мими – и ту жалко. Все, все жалко! А бедная татап? И слезы опять навертывались на глаза; но ненадолго.

Глава XV

Детство

Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений.

Набегавшись досыта, сидишь, бывало, за чайным столом, на своем высоком креслице; уже поздно, давно выпил свою чашку молока с сахаром, сон смыкает глаза, но не трогаешься с места, сидишь и слушаешь. И как не слушать? Мамап говорит с кем-нибудь, и звуки голоса ее так сладки, так приветливы. Одни звуки эти так много говорят моему сердцу! Отуманенными дремотой глазами я пристально смотрю на ее лицо, и вдруг она сделалась вся маленькая, маленькая – лицо ее не больше пуговки; но оно мне все так же ясно видно: вижу, как она взглянула на меня и как улыбнулась. Мне нравится видеть ее такой крошечной. Я прищуриваю глаза еще больше, и она делается не больше тех мальчиков, которые бывают в зрачках; но я пошевелился – и очарование разрушилось; я суживаю глаза, поворачиваюсь, всячески стараюсь возобновить его, но напрасно.

Я встаю, с ногами забираюсь и уютно укладываюсь на кресло.

– Ты опять заснешь, Николенька, – говорит мне мамап, – ты бы лучше шел наверх.

– Я не хочу спать, мамаша, – ответишь ей, и неясные, но сладкие грезы наполняют воображение, здоровый детский сон смыкает веки, и через минуту забудешься и спишь до тех пор, пока не разбудят. Чувствуешь, бывало, впросонках, что чья-то нежная рука трогает тебя; по одному прикосновению узнаешь ее и еще во сне невольно схватишь эту руку и крепко, крепко прижмешь ее к губам.

Все уже разошлись; одна свеча горит в гостиной; мамап сказала, что она сама разбудит меня; это она присела на кресло, на котором я сплю, своей чудесной нежной ручкой провела по моим волосам, и над ухом моим звучит милый знакомый голос:

– Вставай, моя душечка: пора идти спать.

Ничьи равнодушные взоры не стесняют ее: она не боится излить на меня всю свою нежность и любовь. Я не шевелюсь, но еще крепче целую ее руку.

– Вставай же, мой ангел.

Она другой рукой берет меня за шею, и пальчики ее быстро шевелятся и щекотят меня. В комнате тихо, полутемно; нервы мои возбуждены щекоткой и пробуждением; мамаша сидит подле самого меня; она трогает меня; я слышу ее запах и голос. Все это заставляет меня вскочить, обвить руками ее шею, прижать голову к ее груди и, задыхаясь, сказать:

– Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю!

Она улыбается своей грустной, очаровательной улыбкой, берет обеими руками мою голову, целует меня в лоб и кладет к себе на колени.

– Так ты меня очень любишь? – Она молчит с минуту, потом говорит: – Смотри, всегда люби меня, никогда не забывай. Если не будет твоей мамаша, ты не забудешь ее? не забудешь, Николенька?

Она еще нежнее целует меня.

– Полно! и не говори этого, голубчик мой, душечка моя! – вскрикиваю я, целуя ее колени, и слезы ручьями льются из моих глаз – слезы любви и восторга.

После этого, как, бывало, придешь на верх и станешь перед иконами, в своем ваточном халатце, какое чудесное чувство испытываешь, говоря: «Спаси, господи, папеньку и маменьку». Повторяя молитвы, которые в первый раз лепетали детские уста мои за любимой матерью, любовь к ней и любовь к Богу как-то странно сливались в одно чувство.

После молитвы завернешься, бывало, в одеяльце; на душе легко, светло и отрадно; одни мечты гонят другие, – но о чем они? Они неуловимы, но исполнены чистой любовью и надеждами на светлое счастье. Вспомнишь, бывало, о Карле Иваныче и его горькой участи – единственном человеке, которого я знал несчастливым, – и так жалко станет, так полюбишь его, что слезы потекут из глаз, и думаешь: «Дай бог ему счастья, дай мне возможность помочь ему, облегчить его горе; я всем готов для него пожертвовать». Потом любимую фарфоровую игрушку – зайчика или собачку – уткнешь в угол пуховой подушки и любишь, как хорошо, тепло и уютно ей там лежать. Еще помолишься о том, чтобы дал бог счастья всем, чтобы все были довольны и чтобы завтра была хорошая погода для гулянья, повернешься на другой бок, мысли и мечты перепутаются, смешаются, и уснешь тихо, спокойно, еще с мокрым от слез лицом.

Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели – невинная веселость и беспредельная потребность любви – были единственными побуждениями в жизни?

Где те горячие молитвы? где лучший дар – те чистые слезы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утирал слезы эти и навевал сладкие грезы неиспорченному детскому воображению.

Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем сердце, что навеки отошли от меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?

Глава XVI

Стихи

Почти месяц после того, как мы переехали в Москву, я сидел на верху бабушкиного дома, за большим столом и писал; напротив меня сидел рисовальный учитель и окончательно поправлял нарисованную черным карандашом головку какого-то турка в чалме. Володя, вытянув шею, стоял сзади учителя и смотрел ему через плечо. Головка эта была первое произведение Володи черным карандашом и нынче же, в день ангела бабушки, должна была быть поднесена ей.

– А сюда вы не положите еще тени? – сказал Володя учителю, приподнимаясь на цыпочки и указывая на шею турка.

– Нет, не нужно, – сказал учитель, укладывая карандаши и рейсфедер в задвижной ящик, – теперь прекрасно, и вы больше не прикасайтесь. Ну, а вы, Николенька, – прибавил он, вставая и продолжая искоса смотреть на турка, – откройте наконец нам ваш секрет, что вы поднесете бабушке? Право, лучше было бы тоже головку. Прощайте, господа, – сказал он, взял шляпу, билетик и вышел.

В эту минуту я тоже думал, что лучше бы было головку, чем то, над чем я трудился. Когда нам объявили, что скоро будут именины бабушки и что нам должно приготовить к этому дню подарки, мне пришло в голову написать ей стихи на этот случай, и я тотчас же прибрал два стиха с рифмами, надеясь также скоро прибрать остальные. Я решительно не помню, каким образом вошла мне в голову такая странная для ребенка мысль, но помню, что она мне очень нравилась и что на все вопросы об этом предмете я отвечал, что непременно поднесу бабушке подарок, но никому не скажу, в чем он будет состоять.

Против моего ожидания, оказалось, что, кроме двух стихов, придуманных мною сгоряча, я, несмотря на все усилия, ничего дальше не мог сочинить. Я стал читать стихи, которые были в наших книгах; но ни Дмитриев, ни Державин не помогли мне – напротив, они еще более убедили меня в моей неспособности. Зная, что Карл Иванович любил списывать стишки, я стал потихоньку рыться в его бумагах и в числе немецких стихотворений нашел одно русское, принадлежащее, должно быть, собственно его перу.

Г-же Л... Петровской. 1828. 3 июня

Помните близко,
Помните далеко,
Помните моего
Еще отныне и до всегда,
Помните еще до моего гроба,
Как верен я любить имею.

Карл Мауер

Стихотворение это, написанное красивым круглым почерком на тонком почтовом листе, понравилось мне по трогательному чувству, которым оно проникнуто; я тотчас же выучил его наизусть и решил взять за образец. Дело пошло гораздо легче. В день именин поздравление из двенадцати стихов было готово, и, сидя за столом в классной, я переписывал его на веле-невую бумагу.

Уже два листа бумаги были испорчены... не потому, чтобы я думал что-нибудь переменить в них: стихи мне казались превосходными; но с третьей линейки концы их начинали заги-

баться кверху все больше и больше, так что даже издали видно было, что это написано криво и никуда не годится.

Третий лист был так же крив, как и прежние; но я решился не переписывать больше. В стихотворении своем я поздравлял бабушку, желал ей много лет здравствовать и заключал так:

Стараться будем утешать
И любим, как родную мать.

Кажется, было бы очень недурно, но последний стих как-то странно оскорблял мой слух.

– И лю-бим, как родну-ю мать, – твердил я себе под нос. – Какую бы рифму вместо *мать?* играть? кровать?.. Э, сойдет! все лучше карл-иванычевых!

И я написал последний стих. Потом в спальне я прочел вслух все свое сочинение с чувством и жестами. Были стихи совершенно без размера, но я не останавливался на них; последний же еще сильнее и неприятнее поразил меня. Я сел на кровать и задумался...

«Зачем я написал: *как родную мать?* ее ведь здесь нет, так не нужно было и поминать ее; правда, я бабушку люблю, уважаю, но все она не то... зачем я написал это, зачем я солгал? Положим, это стихи, да все-таки не нужно было».

В это самое время вошел портной и принес новые полуфрачки.

– Ну, так и быть! – сказал я в сильном нетерпении, с досадой сунул стихи под подушку и побежал примеривать московское платье.

Московское платье оказалось превосходно: коричневые полуфрачки с бронзовыми пуговками были сшиты в обтяжку – не так, как в деревне нам шивали, на рост, – черные брючки, тоже узенькие, чудо как хорошо обозначали мускулы и лежали на сапогах.

«Наконец-то и у меня панталоны со штрипками, настоящие!» – мечтал я, вне себя от радости, осматривая со всех сторон свои ноги. Хотя мне было очень узко и неловко в новом платье, я скрыл это от всех, сказал, что, напротив, мне очень покойно, и что ежели есть недостаток в этом платье, так только тот, что оно немножко просторно. После этого я очень долго, стоя перед зеркалом, причесывал свою обильно напозаправленную голову; но, сколько ни старался, я никак не мог пригладить вихры на макушке: как только я, желая испытать их послушание, переставал прижимать их щеткой, они поднимались и торчали в разные стороны, придавая моему лицу самое смешное выражение.

Карл Иваныч одевался в другой комнате, и через классную пронесли к нему синий фрак и еще какие-то белые принадлежности. У двери, которая вела вниз, послышался голос одной из горничных бабушки; я вышел, чтобы узнать, что ей нужно. Она держала на руке туго накрахмаленную манишку и сказала мне, что она принесла ее для Карла Иваныча и что ночь не спала для того, чтобы успеть вымыть ее ко времени. Я взялся передать манишку и спросил, встала ли бабушка.

– Как же-с! уж кофе откушали, и протопоп пришел. Каким вы молодчиком! – прибавила она с улыбкой, оглядывая мое новое платье.

Замечание это заставило меня покраснеть; я перевернулся на одной ножке, щелкнул пальцами и припрыгнул, желая ей этим дать почувствовать, что она еще не знает хорошенько, какой я действительно молодчик.

Когда я принес манишку Карлу Иванычу, она уже была не нужна ему: он надел другую и, перегнувшись перед маленьким зеркальцем, которое стояло на столе, держался обеими руками за пышный бант своего галстука и пробовал, свободно ли входит в него и обратно его гладко выбритый подбородок. Обдернув со всех сторон наши платья и попросив Николая сделать для него то же самое, он повел нас к бабушке. Мне смешно вспомнить, как сильно пахло от нас троих помадой в то время, как мы стали спускаться по лестнице.

У Карла Иваныча в руках была коробочка своего изделия, у Володи – рисунок, у меня – стихи; у каждого на языке было приветствие, с которым он поднесет свой подарок. В ту минуту, как Карл Иваныч отворил дверь залы, священник надевал ризу и раздались первые звуки молебна.

Бабушка была уже в зале: сторбившись и опершись на спинку стула, она стояла у стенки и набожно молилась; подле нее стоял папа. Он обернулся к нам и улыбнулся, заметив, как мы, заторопившись, прятали за спины приготовленные подарки и, стараясь быть незамеченными, остановились у самой двери. Весь эффект неожиданности, на который мы рассчитывали, был потерян.

Когда стали подходить к кресту, я вдруг почувствовал, что нахожусь под тяжелым влиянием непреодолимой, одуряющей застенчивости, и, чувствуя, что у меня никогда не достанет духу поднести свой подарок, я спрятался за спину Карла Иваныча, который, в самых отборных выражениях поздравив бабушку, переложил коробочку из правой руки в левую, вручил ее именинице и отошел несколько шагов, чтобы дать место Володе. Бабушка, казалось, была в восхищении от коробочки, оклеенной золотыми каемками, и самой ласковой улыбкой выразила свою благодарность. Заметно, однако, было, что она не знала, куда поставить эту коробочку, и, должно быть, поэтому предложила папа посмотреть, как удивительно искусно она сделана.

Удовлетворив своему любопытству, папа передал ее протопопу, которому вещь эта, казалось, чрезвычайно понравилась: он покачивал головой и с любопытством посматривал то на коробочку, то на мастера, который мог сделать такую прекрасную штуку. Володя поднес своего турка и тоже заслужил самые лестные похвалы со всех сторон. Настал и мой черед: бабушка с одобрительной улыбкой обратилась ко мне.

Те, которые испытали застенчивость, знают, что чувство это увеличивается в прямом отношении времени, а решительность уменьшается в обратном отношении, то есть: чем больше продолжается это состояние, тем делается оно непреодолимее и тем менее остается решительности.

Последняя смелость и решительность оставили меня в то время, когда Карл Иваныч и Володя подносили свои подарки, и застенчивость моя дошла до последних пределов: я чувствовал, как кровь от сердца беспрестанно прилиwała мне в голову, как одна краска на лице сменялась другою и как на лбу и на носу выступали крупные капли пота. Уши горели, по всему телу я чувствовал дрожь и испарину, переминался с ноги на ногу и не трогался с места.

– Ну, покажи же, Николенька, что у тебя – коробочка или рисованье? – сказал мне папа. Делать было нечего: дрожащей рукой подал я измятый роковой сверток; но голос совершенно отказался служить мне, и я молча остановился перед бабушкой. Я не мог прийти в себя от мысли, что вместо ожидаемого рисунка при всех прочтут мои никуда не годные стихи и слова: *как роднюю мать*, которые ясно докажут, что я никогда не любил и забыл ее. Как передать мои страдания в то время, когда бабушка начала читать вслух мое стихотворение и когда, не разбирая, она останавливалась на середине стиха, чтобы с улыбкой, которая тогда мне казалась насмешливою, взглянуть на папа, когда она произносила не так, как мне хотелось, и когда, по слабости зрения, не дочтя до конца, она передала бумагу папа и попросила его прочесть ей все сначала? Мне казалось, что она это сделала потому, что ей надоело читать такие дурные и криво написанные стихи, и для того, чтобы папа мог сам прочесть последний стих, столь явно доказывающий мою бесчувственность. Я ожидал того, что он щелкнет меня по носу этими стихами и скажет: «Дрянной мальчишка, не забывай мать... вот тебе за это!» – но ничего такого не случилось; напротив, когда все было прочтено, бабушка сказала: «Charmant»²⁴, и поцеловала меня в лоб.

²⁴ Прелестно (*фр.*).

Коробочка, рисунок и стихи были положены рядом с двумя батистовыми платками и табакеркой с портретом папа на выдвижной столик вольтеровского кресла, в котором всегда сживала бабушка.

– Княгиня Варвара Ильинишна, – доложил один из двух огромных лакеев, ездивших за каретой бабушки.

Бабушка, задумавшись, смотрела на портрет, вделанный в черепаховую табакерку, и ничего не отвечала.

– Прикажете просить, ваше сиятельство? – повторил лакей.

Глава XVII

Княгиня Корнакова

– Прости, – сказала бабушка, усаживаясь глубже в кресло.

Княгиня была женщина лет сорока пяти, маленькая, тщедушная, сухая и желчная, с серо-зелеными неприятными глазками, выражение которых явно противоречило неестественно-умильно сложенному роту. Из-под бархатной шляпки с страусовым пером виднелись светло-рыжеватые волосы; брови и ресницы казались еще светлее и рыжеватее на нездоровом цвете ее лица. Несмотря на это, благодаря ее непринужденным движениям, крошечным рукам и особенной сухости во всех чертах общий вид ее имел что-то благородное и энергичное.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.